



**Юрий Жук,
Саратов, Россия**

ИГРЫ ДЛЯ МУЖЧИН

Глава первая

Март перевалил свою вершину и покатился к апрелю, но на дворе весной и не пахло. Разгулявшийся морозец будто знал, что дни его сочтены, и напоследок отводил душу. Однако силенки были уже не те. И, как не пытался он ночами студить землю, донимать нахохлившихся по ветвям больших и малых птах, выхолаживать к утру избы, — все живое чуяло: весна не за горами, и потому заметно бодрилось.

Но это когда еще придет тепло и разведет на улице мокреть, а пока сугробы стояли свежими, не тронутыми таянием, небо совсем по-зимнему вывездило от этого последнего мороза, и полная луна так сверху сыпала своим холодным светом, соря серебром, что, казалось, раскрой любую книгу с самым мелким шрифтом, и четко прочтешь каждую ее строчку. В мире было стыло и гулко. Случайный звук далеко разносился окрест, то и дело заставляя вздрагивать пытавшегося согреться под сосной зайца, залегшую в лесополосе косулю, дворовую лохматую собачонку, калачом свернувшуюся возле крыльца крайней избы.

Но вот новый звук хрустящего под ногами снега донесся до слуха дворняги. Встревоженная, она уже хотела было твякнуть, исполняя службу, но передумала, положила голову на передние лапы и прикрыла моментально замерзший нос пушистым хвостом. А по деревне со стороны грейдера к Волге шли двое. Они миновали крайнюю избу и вышли к круче, под которой лежала скованная льдом река. Ледяная равнина простиралась, насколько хватало взгляда, и терялась противоположным невидимым берегом где-то в темноте ночи, а на грани света и мрака угадывался синим иззубренным силуэтом допотопного животного большой остров, густо поросший лесом. Оба путника остановились на самом краю обрыва.

— Ну что, идем, что ли? — негромко произнес тот, что был пониже. — Или к бабе Мане в избу на печку? А уж с утра в луга?

— Какая изба? Какая печка? Столько протопали, тут как-нибудь добежим. Зато раненько на лунках будем. Самый клев наш! — откликнулся полным решимости голосом худой и длинный его спутник.

И стало видно, что оба они совсем мальчишки лет по шестнадцати, не более того. Одеты по сезону тепло и надежно. Первый — в потертый бараний полушубок, перехваченный в поясе ремнем, а второй — в зеленый армейский бушлат, тоже перепопсанный. На носу того, кто был в бушлате, блестя стеклами в неровном свете луны, плотно сидели очки. На ногах у обоих были катанки с высокими, до самых щиколоток, литыми кустарными калошами, а за спиной туго набитые рюкзаки.

— Ты больно-то не гоношись, "добежим как-нибудь", — передразнил высокого товарища его приятель. — До острова, между прочим, семь верст.



Это отсюда, с кручи он близким кажется, а на самом деле до лугов шагать и шагать. Да там поплутать придется. Где та землянка? Неизвестно.

— А все-таки, пошли, а? — в голосе очкарика уже не было прежней решимости, но он продолжил: — Найдем, как-нибудь, я думаю.

— Ну, ладно, уговорил. Будь по-твоему, — тот, что пониже, подпернул за лямки сползший было рюкзак и ловко стал спускаться с обрыва крутой неудобной тропинкой. Его товарищ последовал за ним.

— Да тут и голову свернуть недолго, — остановился он в нерешительности.

— Не трусь! Смотри, куда ногу ставишь, и все будет "абге-махт", — ответили ему снизу. Очкарик с опаской ступил на тропу. Сделал шаг, второй, третий, потом еще и еще. Он уже совсем было одолел большую часть тропы, когда нога его соскользнула и, потеряв равновесие, остаток пути он проделал все быстрее и быстрее скользя на зад.

— С приходом вас! — поприветствовал его едва успевший отскочить в сторону товарищ, когда, беспомощно болтая руками и ногами, он пронесся мимо. — Ну чего развалился, вставай, — и пока тот поднимался, отогнул край рукавицы. — Который теперь час-то? Так, пятнадцать минут одиннадцатого. О, гляди-ка, время совсем детское. Я думал много больше. Ну, ежели повезет, к полуночи на месте будем.

— Отогреемся, отоспимся, а утром — вся рыба наша, — счастливо засмеялся очкарик.

И оба приятеля ступили на лед.

Бескрайнее поле скованной льдом реки только издали казалось идеально ровным. Вблизи же все было иначе. Поднятая плотиной ГЭС вода выплеснулась из берегов и затопила огромную пойму с лугами и озерами, протоками и заливчиками, островами и островками, теперь ушедшими на дно. Река превратилась в море разливанное, местами доходившее до пятнадцати, а то и восемнадцати километров шириной. Теперь, среди зимы, на ГЭС сбросили воду да так постарались, что за многие годы существования водохранилища обрезались гривы, обозначив берега открывшихся озер и проток. На гривы эти лег метровый лед реки, изломавшийся по верхушкам, так что, вся поверхность его превратилась в сплошные холмы и впадины. Идти по ним — сплошное мучение. Ноги то и дело проваливаются в наметанные по склонам сугробы, прикрытые сверху тонкой коркой льда, и потому незаметные среди ночи, а подувший вдоль Волги ветер кружил поземку, швыряя в лицо пригоршни колючего снега.

А сверху на них смотрела луна, одаривая обоих неровным своим светом, и, наверное, видела их обоих малюсенькими букашками, упорно ползущими по бескрайнему белому телу реки, медленно, но неизменно приближающимися к своей цели.

— Давай сюда! — окликнул тот, что пониже, приятеля. — Тут тропа! Натоптанная!

— И у меня тропа, — очкарик остановился, — только в другую сторону. Вот и думай, по которой топтать. Налево пойдешь — коня потеряешь. Направо — убитым быть, — философски изрек он.

— Ну и куда двинем, Добрыня Никитич? — тот, что пониже, подошел к приятелю. — Давай по твоей, она в лес ведет. Где ж землянке быть, как не в лесу!

Высокие корявые дубы отбрасывали причудливые синие тени, ломаными линиями перечеркивающие голубые сугробы. С ближайшего дерева



бесшумно сорвалась ночная птица и, прижимаясь к земле, унеслась в глубь леса. И сразу же оттуда, из ночи, донеслось ее жутковатое "У-у-ух! У-у-ух!"

— Да, налево пойдешь — убитым быть, — повторил очкарик и поежился то ли от холода, то ли от охватившего на секунду страха.

— Пошли, витязь, — тот, что пониже, хлопнул приятеля по плечу и двинулся тропюю дальше.

Не прошли они и пятисот шагов, как увидели среди деревьев тоненькую светлую струйку дыма, хорошо видную на фоне звездного неба. Самой землянки за сугробами заметно не было, и, если бы не дым, они так и прошагали бы мимо, хотя жильё было совсем рядом с тропой. Обрадованные, прямо через сугробы, кинулись они к заветной цели, отыскивали дверь и в клубах пара ввалились внутрь, чем нимало удивили обитателей землянки.

— Здравствуйте всем! — поприветствовали они хозяев. Здравствуйте.

— А что, Балашов Валентин есть среди вас? Из-за раскаленной буржуйки, что стояла недалеко от двери, поднял голову пристроившийся на соломе, покрытой сосновым лапником, человек и, близоруко щурясь, глянул на пришедших.

— Тю! Витька, Лешка! Вы, что ль? — и добавил недоверчиво: — Откуда вас черт среди ночи принес? Неуж из города?

— А то кто же! Мы, стало быть, — ответил тот, что пониже.

— Мы, — повторил его приятель, — из города.

И оба радостно рассмеялись, только сейчас почувствовав, как крепко они замерзли и устали.

Глава вторая

Да, знатная зимой рыбалка в лугах. Немудрено, что народ тянется туда. Уж ежели попал, добрался, не побоявшись целиной и по льду отмахать десяток километров, считай, точно будешь с рыбой. Одна беда — от жилья далеко. Коротки зимние денечки. Светает поздно. Темнеет рано. Только добрел, нащупал рыбу, вошел во вкус — пора назад, уже смеркается. Вот и сговорились местные рыбаки из Смеловки и окрестных деревень к грядущему сезону построить на острове жилище, чтобы было где отогреться и переночевать, чаек вскипятить и посудачить, коротая ночь.

Сказано — сделано. Место выбрали на угоре посуше. Собрались по осени в один из выходных на лодках — кто с лопатами, кто с плотницким инструментом, — и артельно соорудили зимовье, не зимовье, а так, землянку, способную укрыть и обогреть рыболова "в студеную зимнюю пору".

А как Волга встала, стянутая льдом от берега до берега, приняла та землянка первых квартирантов, и с тех пор ни дня не пустовала. Кто на выходные, кто среди недели, подкопив отгулы, кто в отпуск, потянулись мужики в те места, богатые рыбой, зная, хоть и далеко добираться-топать, зато не надо загодя думать о возвращении. Рыбачь себе спокойно, а вечером укроет тебя до самого утра, пусть и неказистое с виду, и не очень удобное, да об удобствах ли речь, тут бы голову преклонить побыстрее в тепле, доброй рукой сделанное для таких же, как и ты сам, пристанище. И никому в ночлеге не откажут, сколь бы людно в землянке ни бывало. Поворчит, поворчит народец, на тесноту посетует: "Вы, что? Со всей Волги ночевать



сюда наладились?" — однако сдвинется, освободит уголок для нового квартиранта.

А через короткое время разговорится новичок, согретый душистым чаем, о себе все выложит: кто да откуда, с компанией познакомится и — будто век тут вековал: все такие родные и близкие! И пусть на завтра он уйдет, и более не вернется сюда, однако, уходя, непременно скажет:

— Ну бывайте, мужики! Счастливо оставаться. Может, случится, еще загляну когда. Натек-ка вот, у меня тут сало с хлебом. Ну ни перышка вам, ни чешуйки! Пожмет всем руки и исчезнет в предутреннем мареве. И останется о человеке память, та, которую он сам заслужил. Хоть и короткой была их совместная жизнь — ночь всего, а все-таки жизнь, и никуда ее не денешь. И будут помнить его рыбаки, постоянные обитатели землянки, не за сало с хлебом, а за слово доброе, за ту, пусть и маленькую, но заботу.

Быстро смеркается зимой. Еще и шести нет, а на дворе уже вызвездило. В темноте не порыбачишь. И потянулись к жилищу со своих облюбленных уловистых мест мужики. Глядишь, один стронулся с лунок, то ли обловился, то ли устал рыбу искать, за ним — другой...

И заструился над крышей тонкой синей струйкой дымок из трубы. Нехотя разгорается печурка. Первое дело — развести огонь в очаге и согреть выстывшую за день и остаток предыдущей ночи землянку. А где огонь, там и уют. Весело трещат дрова в печке, плюется в белый свет снопами искр труба, шипит, теряя на плиту талый снег, ведерный чайник, и на душе становится радостно и спокойно. Оттого что есть на свете среди зимы и ночи, повседневной городской суеты и спешки светлое место, где можно отогреться душой и телом.

Иной раз чужому человеку так раскроешь душу, так выложишь жизнь свою, каково и родной матери не поведаешь. Все про себя расскажешь. И про хорошее, и про плохое, самое стыдное, что носил в дальнем глухом закуточке души своей, о чем и думать забыл, и помнить никогда не хотел. Ан нет. Чуть тронул, и выплыло оно наружу. Разбередило память. Потом, на завтра, думаешь: "Черт тебя за язык тянул выкладывать все это? Ну было и было, и быльем поросло. Нет же, надо все рассказать чужому человеку. А кто он тебе? Сват? Брат? Что теперь думает? Ну не дурень ты стоеросовый?" Так коришь себя за болтливость, а на душе становится легче, будто унес с собой этот чужой часть горя твоего и боли, что жгли тебя изнутри огнем

Висит на стрехе "летучая мышь", светом своим едва освещая середину землянки: мечутся по стенам и потолку диковинные тени, стоит лишь открыть дверцу печурки, а внизу яростно спорят разомлевшие от тепла и выпитого чая уже отдохнувшие мужики.

Чего только не наслушаешься в такие вечера! Народ подобрался разный, всяк по-своему проживающий свой век. И Виктор с Алешкой только диву даются, сколь богата и интересна событиями жизнь каждого из них. — Ты погоди, руками не маши. Ты мне толком ответь, ежели такой умный, что ж это тогда было? — горячится самый ярый спорщик дядя Рома НЛО. Так его прозвали обитатели землянки за твердую уверенность в том, что на обратной стороне луны давно поселились невидимые пришельцы из другой галактики и без нашего на то ведома и согласия, время от времени засылают на землю свои летающие тарелки и потихоньку изучают человечество. Мысль эта в нем прочно укоренилась после того, как он, якобы сам видел в небе этот самый НЛО, который пролетел над ним, когда он вышел ночью из избы по малой нужде.



— Я вот так-то на крыльчке стою, пристроился, чтобы тут же, значит, не отходя от кассы, дело сделать. У меня у крыльца полисадник, дай, думаю, цветочки сверху полью, чего через весь двор бежать, как из-за крыши она и появилась, НЛО, значит. Пролетела эдак метров триста и, в аккурат, над Демьяновским домом, Демьян — это наш директор совхоза, повисла. Гляжу, мать честная, сверху от нее, от этой самой штуки, вниз луч потянулся и, — дядя Рома делает большие глаза, — прямо в крышу уперся, в аккурат над Демьяновской спальней. Я так думаю, — он понижает голос до шепота, зачем-то опасливо оглядывается на дверь и, как большую тайну, досказывает все остальное, — по этому самому лучу они, — дядя Рома тычет большим пальцем в потолок, — передавали Демьяну инструкции, как дальше совхозом руководить.

— Во дает! — не выдерживает Васька Леонтьев, боец воензированной охраны мяскокомбината, вечный с дядей Ромой спорщик. — Ну ты, дядь Ром, остынь маненько. Не люблю, кто больше меня врет. Это что ж выходит? Демьян твой тайную связь поддерживает с инопланетянами? Так, что ли?

— Выходит, что так, Васенька, — дядя Рома не доволен, что его перебили, но вида не показывает и отвечает Ваське ласково, как ребенку малому, когда тому что-то хотят втолковать, а он никак не понимает. — Да ты не суетись, не перебивай, а до конца дослушай. Демьян-то и сам этого не подозревает, потому как спит ночами. А они, — дядя Рома вновь тычет пальцем в потолок, — во сне его инструктируют. По этому самому лучу в голову его инструкции вкладывают.

— Ну, ты даешь! — вновь не выдерживает Васька.

— Погоди, погоди, дослушай, — дядю Рому уже не остановить. — Ну как тогда, скажи мне на милость, нашему совхозу в передовые выйти? Ну кто такой Демьян Савельев? А? Не знаете? Отвечаю. Демьян Савельев — первый на селе бабник и лоботряс. Я его еще вот таким помню, — дядя Рома показал, каким он помнит Демьяна Савельева, оставив маленькую щелку между полом и ладошкой. — Тогда он еще без порток по селу шлындра. И откуда в его котелке, — дядя Рома обводит всех орлиным взором, затем стучит костяшками пальцев по своему лбу, — самостоятельно образоваться светлым мыслям о переустройстве хозяйства? Он и в школе учился кое-как. Все больше за Маринкой Мамычевой ухлестывал да по огородам ее тискал, хотя куда той было до моей Натальи. В армии этому тоже не научат. Ну закончил он институт в городе, никто не спорит, но у нас и до него директора были все сплошь с высшим образованием, а совхоз как терпел убытки, так и терпел. А пришел Демьян и, нате вам, за три года вывел хозяйство в передовые. Да ежели б я его не знал, а то ведь знаю, как облупленного! В Демьяновой голове ничего такого, — дядя Рома покрутил рукой у виска, — самостоятельно появиться не может. Вот и выходит, что это они его проинструктировали, как да что. И теперь время от времени советы давать прилетают. Так сказать, на связь с ним выходят. Вот эту ихнюю связь я как раз и видел.

— Ну а дальше, дальше-то, что? — подначивает Васька. Все слышали эту историю не раз и не два, отлично знают ее от самого начала, до самого конца. Но все равно интересно, потому что в изложении дяди Ромы она каждый раз звучит по-другому, обрастая все новыми и новыми подробностями.

Но дядя Рома, видно, сегодня не в настроении. И все-таки он не может отказать себе в удовольствии досказать любимую историю до конца.

— Дальше? — он оборачивается к Ваське. — Я как понял, что к чему, чего



на моих глазах происходит, так и думать забыл, зачем вышел. Стою на крыльце в исподнем, vareжку раскрыл. Ну а эта самая НЛО повисла, повисела над Демьяновой крышей и полетела других, кого надо, инструктировать. Вот такие, значитца, дела. С тех пор я ни разу ее не видел, хотя в засаде ночей пять кряду сидел.

— А для чего сидел-то? — на полном серьезе спрашивает Васька, незаметно подмигивая остальным.

— Как для чего? — дядя Рома смотрит на Ваську с сожалением. — Ты, Васенька, где умный-умный, а где... — дядя Рома махнул рукой. — В контакт я с ними вступить хотел. В контакт. Неужель не ясно? Побеседовать, пообщаться. По всему видать, ихняя цивилизация нашу намного перегнала. Вот и хотелось их убедить, чтоб не таили секретов, поделились, так сказать, по-соседски с братьями по разуму. Да и объяснили кой-кому там, — дядя Рома неопределенно тычет большим пальцем куда-то за себя, — что, мол, лучше в мире проживать, чем на рожон переть, войны добиваться. Пускай бы они вот так же тихонечко, как Демьяну, внушили там, кому надо, президенту ихнему, что ли, мозги вправили, как жить по-людски.

— И, что ж, не столкнулся? — уже откровенно смеется Васька.

— Не столкнулся, — сокрушается дядя Рома. Увлеченный своим рассказом, он не замечает Васькиной насмешки. — Говорю, не прилетали больше, сколь ни караулил. Видать, и у них неполадки бывают с техникой. А может, заподозрили, что я их открыл, не схотели со мной беседовать. Да и то: чего я им? Сторож на конюшне. Ежели б кем повыше был, попредставительнее, тогда, конечно, может, и потолковали бы. А так, — дядя Рома махнул рукой, — рылом не вышел.

— Ну ты не горюй, дядя Рома, — успокаивает его Васька, — вот вернешься с рыбалки, свежей рыбки привезешь. Старуха нажарит ее. Дух от жарехи по улице пойдет. Глядишь, и они учуют. Захочется им свеженькой рыбешки-то, они и нагрянут. Так что, не переживай, готовься. — Э-э-эх, кобелюка толстомордый, — наконец, обижается дядя Рома, — тебе бы только гы-гы, гы-гы. Послушать, так ты другого ничего не умеешь. — И отодвинулся в сторону, устраиваясь на ночлег. Дядю Рому в землянке любят, и если подшучивают над ним, то по доброму, без зла. Да и то, как его не любить? Это в его голове зародилась светлая мысль о строительстве землянки. Это он организовал тяжелых на подъем мужиков и привез на остров. Это он где-то раскопал железную буржуйку и незаменимый ведерный чайник.

Но не за это пользуется он любовью и уважением рыбаков, вернее, не только за это. Был один случай, который укрепил авторитет дяди Ромы в рыбацком обществе и заставил уважать его не только как самого добычливого рыбака, а облавливал дядя Рома всех, будто шутя. Когда же у него спрашивали, пытаюсь выведать секрет удачи, он только хитро шурился, смеясь одними глазами, и неизменно отшучивался единственной фразой: — Слово "петушиное" знаю. Как мне, значитца, рыбешки поболее надо, я его и прошепчу в лунку. Услышит его рыба и сама, значитца, сигает ко мне на лед. Только, знай, собирай и в мешок складывай. Рыбаки — народ суеверный. Когда у тебя не клюет, а рядом из лунки таскают одну за одной, тут не только слово "петушиное", в Бога и в черта поверишь. И начинает клясть себя незадачливый рыбак за то, что не выполнил первой заповеди и в ночь перед уходом на лов не сдержался и



тронул жаркую в ласке жену. "Рыба, она, все чует и не в жисть не пойдет к согрешившему", — говорят местные мужики, свято выполняя не ими заведенное правило. А ежели нет за ним того греха, не раз проклянет себя за лень, что не свернул давеча с пути и дал перейти дорогу бабе с пустыми ведрами или черной кошке. Ну а ежели и того не приключилось по дороге, непременно вспомнит какую другую примету, про которую и думать забыл. В общем, так или иначе, все равно отыщет причину, из-за которой у него сегодня полный обрыв в рыбалке. Есть, конечно, и среди них атеисты, ни во что такое не верящие, но докопаться до истины, а в особенности обловить дядю Рому хочется каждому. Но хотеть, как говорится, не вредно, а вот обловить его на самом деле, это совсем другое. Чего только не пытались творить завистливые рыбаки, на какие хитрости не пускались. Например, обдалбливали дядю Рому со всех сторон, дырявя свою лунку чуть ли не у него под ногами. Он же, знай, посмеивается и тягает на лед сорожин да подлещиков, а то нет-нет и шепнет что-то в лунку, прикрыв рот варежкой, а у завистника, хоть ты тресни, ни одной поклевки. И снасть его рассматривали и так, и эдак, пытаясь найти в ней какой-нибудь секрет, и наживку выпрашивали, думая, что тут собака зарыта. Ан нет, не выходит так ловко. Бывало, придет дядя Рома на свои вчерашние лунки, а там уже занято. Не порыбачки это, не принято так у нас. Самое последнее дело — на чужое место садиться, когда хозяин тут. Однако всякий народец на свете живет, и поступает каждый всяк по-своему. Иной рыбак шуганет нахала да еще матюков ему вслед насует, чтоб неповадно в другой раз было, и вся недолга. А дядя Рома только качнет головой, сокрушаясь: что ж ты, мол, творишь, мил человек? И уйдет к самому камышу, где ловить никому и в голову не придет, протюкает там не спеша лунку, глядь, и снова затрепыхались у ног его сорожонки с красноперками. Да какие! Мерные, одна в одну, граммов по триста каждая. А то постоит, посмотрит, головой повертит и зашагает куда-то в сторону. Вечером же в землянке окажется, что опять у него больше всех рыбы в мешке. Нахал юга же, согнавший его с лунки, и вовсе без поклевки просидел до ночи. Ну как тут не поверить в это самое "слово петушиное"? Но все это, о чем говорилось, раньше было, до того самого случая, о котором речь пойдет. Сейчас же никто не покушается на рыбацкий покой дяди Ромы, и не только его, но и всех обитателей землянки. Началось же все вот с чего. Пришел как-то в землянку некто Бестяглов. Кто его туда привел, никто толком не помнит, однако, рассказывая об этом, очевидцы не преминут подчеркнуть, что был этот некто Бестяглов человеком заносчивым и скверным, хотя, а может, именно поэтому и служил где-то в органах и, как говорят, занимал там немалый пост. И, видно, все так оно и было на самом деле, потому как говорят все те же очевидцы, к самому что ни на есть берегу привозила его милицейская машина, которая потом за ним возвращалась, к назначенному им самим же сроку. Ну да рыбакам, как говорится, "до лампочки", кем ты там обитаешь в цивилизованном мире. В директорах ли ходишь, слесаришь ли в мастерских, на льду — все едино. Каков ты в рыбалке да в общении с людьми — вот главный козырь. И уж ежели кого не взлюбят рыбаки, не зауважают с самого начала, добиться расположения их будет весьма трудно, а вернее, совсем невозможно.

Вот так случилось и с этим самым Бестягловым. Не взлюбили его рыбаки. За нахальство, за норовистость, за голос командирский, которым он, видимо,



по давней своей привычке, и тут пытался разговаривать со всеми, а пуще всего за высокомерие его, за то, что он не уважал остальных рыбаков. И то, кому понравится, когда к тебе обращаются "ну-ка, ты", да "ну-ка, подай", "ну-ка, дровишек принеси" да "ну-ка чайку плесни"? Раз такое стерпели, второй промолчали, а этот самый, некто Бестяглов, и решил: так тому и быть на веки вечные. С рыбалкой-то у него не очень ладилось. Бывало, и вовсе без рыбы на ночлег возвращался. Вот и взяла его зависть к успехам дяди Ромы. Не смог он его достать в рыбацком деле, хотя все способы перепробовал, о каких говорилось раньше, и решил отыграться за свои неудачи и неумение, унижая дядю Рому по-человечески. Это к нему он в основном обращался через свое командирское "ну-ка". Дядя Рома — душа человек, все сначала слушал, терпел. Одну просьбу его выполнил, хотя это и просьбой назвать нельзя было, другую, третью, а потом и говорит ему тихонько так, однако, чтоб всем слышно было: — А не пошел бы ты, мил человек... — и послал его напрямик в то самое место, где приличному человеку и бывать-то не следует. Этот самый, некто Бестяглов, вначале опешил — не ожидал такого оборота дела, а потом давай орать:

— Да я тебя! Да кому ты говоришь такие слова, душа из тебя вон! В бараний рог согну и в тюрьме сгною за оскорбление личности! Ну тут весь рыбацкий народ не выдержал, выдали ему по первое число и посоветовали, больше в землянке не бывать, а то, как бы чего не вышло.

Ну этот самый некто Бестяглов надулся индюком и давай слюной брызгать:

— Да я! Да вы! Да нужны вы мне, урки! Тюрьма по вам плачет! - Вещички схватил, дверь хлопнул...

А уж смеркалось крепко. Ну ушел и ушел. Вонять меньше стало. Посудачили и забыли. Каждый своим делом занят: кто удочку ладит, кто на ночь устраивается. Тут уж стемнело совсем. Вдруг открывается дверь, а на пороге дядя Рома. Когда и как он вышел никто и не заметил.

— Пособите-ка, мужики. Да печку подкочегарьте, — а у самого зуб на зуб не попадает, поскольку раздет: без шапки, штаны и душегрейка все в ледяной коросте. Видать по всему, на минутку вышел, да задержался. Втащить что-то за собой пытается. А это что-то застряло в дверях, и ни туда, ни сюда. Видят мужики, неладно происходит, кинулись к нему. Он им на руки и свалился без сил.

— Не меня, — говорит, — имайте, тому пособите, — и рукой на дверь показывает.

Глянули мужики, мать честная: в дверях некто Бестяглов лежит, глаза закатил под лоб, и весь ледяной и промерзший. Беда — ясное дело. Давай оттирать и оттаивать обоих, потому как дядя Рома тоже чуть живой, хоть и хорохорится: "Я сам! Я сам!" — а у самого ни рука, ни нога не гнутся. Все волосья в сосульках, и одежда колом стоит, будто деревянная. Ну а уж о Бестяглове и говорить нечего. Однако народ подобрался в землянке бывалый, опытный. Отходили обоих. По такому случаю влили им внутрь спирту, благо, нашлась в баклаге у Валентина малая толика, будто для этого дня специально припасенная.

После спирта некто Бестяглов очнулся, глаза вытаращил, соображать пытается.

— Братцы-ы-ы, братцы-ы-ы, — повторяет и плачет.

А что оказалось? Дядя Рома нам потом рассказал:

— Верите, меня как кто-то толкнул. Непокойно на душе. Ровно кошки скребут. Дай, думаю, гляну. А что гляну, и сам понять не могу. Ну вышел,



значитца. Смотрю следы свежие от землянки по целине. Ну, думаю, это он дуриком в лес сиганул без тропы. Кроме него, больше некому. Только это я успел сообразить, слышу: шумит будто кто-то от протоки. А там все сплошь в майнах. Беда! Я бегом по его следам. Точно на него и вышел. Вернее, самого-то его уже под лед затянуло, там течение, глубина, не приведи господь кому. Да, видать, в рубашке родился. Полушубок за торосину зацепился, это его и спасло. Уж как я его тащил, други мои, один Бог ведает. В нем в голом-то виде, по всему, без малого центнер, а уж в промокшей аммуниции и все два потянет. Сам пару раз обрывался в воду, однако, лесина помогла, что я на ходу с собой в лесу прихватил. Как еще Бог надоумил! Ежели б не она, вдвоем сейчас подо льдом болтались. Я, значитца, за лесину зацепился, а потом и его прицепил. Сам выкарабкался и его выволок. Ну а уж как до землянки его пер, видит Бог, не знаю. Да и Бог сам знает ли? А что, Валь, спиртику больше не осталось?

А этот самый, некто Бестяглов, ушел наутро, пряча глаза ото всех. Однако обронил в дверях народу:

— Спасибо всем, — и больше его тут никогда не видели. Дядя Рома же сделался как бы комендантом в землянке. Уходя домой, рыбаки доверяют ему на хранение снасти, продукты оставшиеся, тем более что сам он тут живет почти безвылазно, второй месяц, отлучаясь лишь на день, на два в неделю, чтобы попариться в бане и свезти в деревню рыбу, которую его старуха тут же продаст на базаре, потому как за всю свою долгую жизнь в колхозе, а затем и в совхозе, когда пришла реорганизация на село, и многие коллективные хозяйства превратились в советские, капиталов больших не нажил и к старости заработал пенсию в тринадцать рублей с копейками. Дети его, а у него их двое, две дочери, помощи не шлют и, как он сам говорит:

— Обе по чужим людям горе мыкают. Старшая, Наталья, на мясокомбинате проживает. Сама детишек Вовку и Витьку на ноги ставит, из последних сил тянется, потому как муженек ее благоверный второй раз в ЛТП обитается. А о Шурке, младшей, Александре, значитца, и говорить нечего. Какая она помощь? Та вовсе в общаге ютится, студентка еще. Но на Шурку у меня хоть надежда есть. Медицинское училище заканчивает. Не в смысле помощи материально надежда, мы уж со старухой как-нибудь сами доскрипим, а в смысле, что в люди выйдет, лучше жить будет, чем отец с матерью да сестра ее. Э-хе-хе, — вздыхает дядя Рома, — грехи наши тяжкие, только б мужик ей непьющий попался.

— Да где ж ты таких видел, дядя Рома? — удивляется Васька. — Нынче только телеграфные столбы не пьют, и то потому, как чашечки у них вниз.

— Разве ж я говорю, чтоб вовсе в рот не брал? Ты пей, да ума не теряй. В праздник там, в день рождения. А то ведь, мыслимое дело, — дядя Рома снова вздыхает, — Натальин-то охломон до того допился, что жидкость для выращивания волос лакать начал. Из дому все вынес, что можно было унести. В году трех месяцев подряд не проработал. Гонют отовсюду. И, нате вам, пожалуйста, первый раз год в ЛТП отбарабанил, пришел и месяца не продержался, еще хуже пить начал. Я, грит, за год упущенное наверстать должен, И вот, наверстал, уже на два года. Ну какой из него мужик? Моя старуха сколько ей говорила, уйди от него, Наталья, брось. А та все свое: не могу, мол, маманя, люблю его. Да к тому же он отец моих детей. А какой он, к чертям собачьим, отец? Настругал двоих. Дак тут большого ума не надо. Дело нехитрое. Такое нехитрое, что он, поганец, в перерыве между



отсидками третьего Наташке заделал. Обрюхатил бабу, а сам на казенные харчи укатил, здоровье поправлять. Вот вам и все дела. Это что, отец? Они его видят? Отца этого? А она видит его? У, недоносок, так бы и пришиб, за то горе, что он вокруг себя сеет.

— Ну уж и пришиб бы? — перебивает его Васька. — Ты ведь сам не святой, и дело это, — Васька выразительно щелкает себя по горлу, — тоже весьма уважаешь.

— Да, уважаю дело, — дядя Рома нажал на слово "дело", — но дело, а не баловство. Я работу уважаю. Я всю Жизнь работал и до смерти, пока сил хватит, работать буду. И ты меня не кори, потому как никогда я совести своей не пропивал, хотя давно уже седьмой десяток разменял. Я свое прожил и скажу тебе, Васенька, ни за один прожитый день мне не стыдно, ни за один, потому как ни разу, ни перед собой, ни перед людьми не кривил душой, хотя жизнь, случалось, и так и эдак поворачивала. Так что, ложись-ка ты, Вася, спать да туши фонарь. Нечего керосин без дела жечь. А разговоры разговаривать и в темноте можно. Но в темноте разговор не клеится и сам собой угасает. Мужики притомились за день, до отвала надышавшись чистым морозным воздухом, и потому быстро засыпают. Из разных концов землянки раздается громкий, здоровый храп. Уснул тут же и Васька, чуть только голова его коснулась свернутого тугим валиком полушубка. Прямо в очках, видно, не успел снять сморенный быстрым сном, посапывает Валентин, спит и Виктор, широко разметав свое крепкое тело по сему. Это потом, к утру, когда землянку выстудит ночным морозом, он свернется калачиком, стараясь и плечи, и ноги уместить под куцым полушубком. Но холод достанет его и там. Во сне он будет жаться к Алешке или Валентину, пытаясь сохранить остатки тепла, но замерзший окончательно, в конце концов, не выдержит, вскочит, чертыхнувшись, и примется растапливать затухшую было печурку. Затихнет и дядя Рома, долго ворчавший в своем углу. Разбередили душу старику. Лишь Алешка не спит, сон не идет к нему. То ли на новом месте с непривычки не спится, то ли не дают уснуть запавшие в душу последние дяди Ромины слова, и, вспоминая их, Алешка думает: "А хорошо вот так, в конце своей жизни, иметь право сказать, что ни за один свой прожитый день не стыдно, потому как ни разу, ни перед собой, ни перед людьми не покривил душой".
Но вот засыпает и он.

Глава третья

Давняя крепкая дружба связывает Виктора Балашова с Алешкой Коноваленко. Оба совершенно разные и по характеру: Виктор рассудительный, не по летам серьезный, а Алешка балагур и насмешник, бич и любимец всей школы; и по внешности: Виктор пониже и покрепче, с хорошо развитыми мышцами, а Алешка пофитилистее и похлипче.

Сошлись они на одном: на великой страсти к рыбалке, а потом к охоте. Ничего не существовало для них более важного, чем эти два предмета, и уж, конечно же, ничто не могло удержать их в городе, если находилась свободная минутка для любимого занятия.

К концу школьной недели у обоих начинался неудержимый зуд. И всем в классе становилось ясно, что в субботу этих двоих опять не будет на последних уроках, и до самого понедельника искать их надо на Волге в окрестностях деревни Смеловки, где у Виктора проживала родня: бабушка



по материнской линии и ее сын Валентин, родной дядя Виктора, такой же заядлый охотник и рыбак, как его племянник.

Вот туда-то, в Смеловку, и отправлялись приятели, сбегая из школы, чтобы засветло добраться до места. А путь был неблизок. Вначале через весь город на троллейбусе до Волги, там через переправу до другого берега. — В те времена, о которых идет речь, моста через Волгу не было, затем долгий путь автобусом до мясокомбината, а уж там, как Бог пошлет удачу, с попутной машиной. Повезет — сразу уедешь, и восемнадцать километров пролетят незаметно, а нет машины — шагай себе по "сошейке", так зовут бетонный грейдер деревенские, и жди, пока тебя подхватит случайная попутка. Бывало, полпути пешком отмахнешь, пока не сжалится какой-нибудь шофер и не притормозит у обочины, чтобы посадить бедолаг и заработать свой законный полтинник — такова была такса. А то и вовсе до деревни дотопаешь ножками. Не ходят машины в ту сторону, хоть ты тресни. Но что такое для обоих восемнадцать километров, когда назавтра ждет рыбалка! Да какая! Не легкомысленное сидение с удочкой на берегу в томительном ожидании, клюнет или нет какой-нибудь шальной окунишка или сорожонка величиной с ладонь, а солидный выезд на отлов серьезной рыбы: леща ли, налима ли, щуки или сома, это смотря по сезону и настроению обоих добытчиков.

Большая ими же осмоленная по весне лодка на две пары весел дожидается своего часа на приколе у берега; и когда наступал этот час, в темное еще время до прихода зари, садились в нее приятели, отталкивались от берега и выгребались на тяжелой посудине на известные им одним уловистые места, которые находили по тайным своим ориентирам на берегу и реке, будь то пристань, одинокое дерево или бакен. Еще сонное тело реки местами морщится под порывами предутреннего неровного ветра, который длинными узкими полосками рябит воду и рвет в ключья повисшее над поверхностью ее молочное марево тумана. А из тумана выплывает то вежа, обозначающая мель, то бакен на фарватере. Но вот за далекой степью, на границе земли и неба, вначале чуть-чуть завяжется, а потом и разговорится зорька, предупреждая появление утреннего светила, и туман, слизавший у реки всю поверхность воды, как пенку с молока, поднимется кверху, а затем и вовсе исчезнет, открывая взору всю бескрайность величавой реки. Ветер пробежит по воде в последний раз и унесется куда-то за острова. И поселится на реке благодатная тишина.

В такие минуты сердце замирает в предчувствии чего-то необычного. И это необычное, наконец, свершается, когда в дальней дали, у самого конца земной тверди, объятый зарей покажется сначала краешек, а затем разрезанной дыней восстанет и весь диск солнца. Оно еще мгновение будет цепляться своим краем за край земли, будто рожденное из недр ее, а затем оторвется от этого края и медленно, почти незаметно глазу, скользнет по небосклону вверх.

К этому времени лодка уже стоит на нужном месте, растянутая на якорях, снасти приготовлены и опущены в воду. Обычно это два бамбуковых спиннинга, заброшенных с кормы и носа на сомовьи ямы, и две донки, опущенные тут же под лодку, с насадкой на леща. Лодка чуть-чуть покачивается в такт мерным вздохам реки, оба рыболова удобно устроились и будто дремлют.

Однако не проходит и двух часов, как в садке, буровя хвостом воду, бьются



уже десять, а то и пятнадцать лещей. И это не считая сапы и сеньги — более мелкой рыбы, которая ой как хороша в засолке! Посушенная на сквознячке, она становится почти прозрачной, если глянуть через нее на свет. Чехонь ребята и вовсе не берут, считая несостоящей, сорной рыбой.

— Опять косырь, — так у нас по-местному чехонь называют, — кинь его назад, кому он нужен, — говорит мне Алеша, и я охотно выполняю его просьбу.

Сейчас трудно поверить, что в те, не такие уж и далекие времена, какой-то рыбак мог побрезговать чехонью, первейшей по нынешним временам рыбе в засолке. Не что было, то было. Эта, в общем-то, незаслуженно обойденная людьми рыба на Волге считалась сорной и чаще всего выбрасывалась назад в воду или шла на корм свиньям. Что ж, вкус у нее другой стал, что ли, или костей меньше? Да нет. И вкус тот же остался, и костляв косырь по-прежнему. Просто много больше было в реке другой рыбы: леща, судака, сома, налима, вовсе редкого теперь — залома — волжской селедки, и сазана. Шла на крючок и красная, и это считалось обычным делом. Иной раз выловишь на червя стерлядку сантиметров двадцати пяти, осторожно снимешь с крючка, легонько шлепнешь по длинному, кривому носу:

— Ступай, веретешка, расти пока. Сама гуляй, а маме с папой накажи, пусть к нам идут. — И выпустишь малявку за борт. Не знаю, чего уж она там наказывали, своим маме с папой, но на закидушку попадались стерлядки и посолидней. В килограмм, в полтора, а то и до двух кило цеплялась стерлядка на простую лещевую снасть. А местные добычливые рыбаки, ловившие не один десяток лет и наизусть изучившие каждый уголок поймы и, наверное, знавшие все вековые ходы красной рыбы, вытаскивали и по семь, а то и по девять килограммов. Но такие были редкостью и в те времена и попадались либо на самоловы, которые уже и тогда были запрещены, либо в сети, браконьерской снастью у деревенских не считавшиеся.

— Что? В сети ловить нельзя? Ты, милай, ври, да меру знай. Когда мне с тем крючком на воде сидеть. Мне работать надоть, семью кормить. Запрет, говоришь? Ну что ж, може, у вас в городе запрет навели, потому у города и рыбы поменее, и народу поболее. А у нас ее ловить — не переловить. Однако переловили, И четверти века не прошло» а рыбы в Волге заметно поубавилось. Да что там, поубавилось: почти не стало в Волге рыбы. Где ж видано такое, чтоб на Волге жить и рыбы волжской не едать! И это в городе, на гербе которого испокон веков выбиты три стерлядки, три красных рыбки. Поредело рыбе стадо. И виной тому не только браконьеры с самоловами и сетями, с вентерями и переметами, хотя не перевелся на реке до сих пор и такой рыбий хищник, не брезгующий ни малой сорожинкой, ни, тем более, крупным судачиной. Все метет под метлу. Но с ним разговор короткий. Попался — конфискуют и сети, и лодку. Влепят штраф за каждую пойманную голову, а то и осудят. Вот и вся недолга. Однако спокойно живут и в ус не дуют ответственные товарищи, во время самого икромета распорядившиеся сбросить воду в реке. Приказано — сделано. Отхлынет вода, и обнажит прибрежные кусты и отмели, на которых гроздьями повиснут и высохнут миллиарды рыбьих икринок, на радость воронью и сорокам. А ежели и выведется малек в какой из оставшихся бочажин, все равно погибнет, отрезанный сушью от большой воды. Не скатиться ему в Волгу, не вырасти до взрослого, потому как выпарит июльское солнце всю воду в бочажине, и то же воронье, и сороки довершат так удачно начатое ответственными товарищами дело.



Сладко спится и умным начальникам прибрежных заводов, А зачем им бессонницей мучиться от того, что плывут по фарватеру целые тонны радужно цветущего на солнце мазута и нефти. Их мазута, их нефти, их заводами выпущенного в реку.

— А чего там! Велика река. Для нее это — капля в море. Мы за это штрафы платим, с нас и взятки гладки. Но капля по капле, и накопилась в огромной реке другая река: мазута и нефти. Где уж тут бедной рыбешке жирок нагулять? Тут не до хорошего. Дай, господь, в живых остаться да до икромета дотянуть. Ну, ладно. Избежала она, рыба, значит, на этот раз крючка рыбацкого, в сеть браконьерскую не попала, под теплоходный винт не угодила и в мазуте выжила, нашла свой омут поглубже и, казалось бы, живи спокойно. Ан нет. Как бы не так. Угнездилась по протокам и заливам со стоячей водой зараза. Рыбий паразит, рвущий и сосущий ее изнутри. И дуреет рыба от вечной внутренней боли, не помнит себя, выбрасывается из последних сил на берег и засыпает, измученная и обессиленная. И вылезает наружу, проев ее изнутри, рыбий гад. Он в дохлой рыбе жить не может, и без рыбы жить не может, и тут же сам гибнет, до половины вытащив свое плоское червячье тело наружу.

Мне скажут, зачем зря болтать, мол, где ты такое видел? Отвечу: видел. Сам видел и не раз. Сердце рвалось на части, глядя и на высохшую икру, по кустам волжской поймы развешанную, и огромных дохлых лещей у самого уреза воды. Я однажды насчитал пятьдесят четыре леща на трехстах метрах берега. Это ли не трагедия? Где уж тут рыбьему стаду расти? И как бы меня не агитировали в местной печати, как бы не уговаривали рыбы специалисты, мол, ешьте такую рыбу, безвредна она, паразита выбросьте, прожарьте получше, и — на здоровье, ешьте в свое удовольствие. Вот сами они пусть жарят. А у меня душу воротит с такого удовольствия. И как промолчать о тех десятках огромных вздувшихся осетров и белужин, кверху брюхом плывущих в Каспий мимо волгоградских и астраханских пляжей, и уж о самом страшном надругательстве над природой, которое мне когда либо доводилось видеть, когда на том же самом Каспии я за пенистый прибор принял тысячи белых лебедей, прибитых ветром к берегу и беспомощно валявшихся вдоль него, потому как перо у них было все сплошь в нефти. У нас троих волосы зашевелились на голове от этого зрелища. Многие из несчастных птиц были еще живы и тоскливо и обреченно провожали нас взглядами. А приятель мой Юра Малевич — буйная голова, в бессильной ярости плакал и колотил руками землю, понимая, что спасти нам птиц не удастся, и погибнут они все до единой на этом пустынном пляже от голода и мучений, не в силах взлететь, ибо нефть, склеившая перо, им не позволит это сделать. Помирать буду, не забыть мне этой картины. Эх, Волга, Волга, что-то с тобой дальше будет?!

Но вернемся в те давние годы, к нашим друзьям-приятелям, в осеннее светлое утро, на лещевый удачный клев. Вот только сомовницы у них молчат. С самого утра ни одной поклевки. И когда ребята уже перестают ждать, из-за Викторовой спины раздастся треск спиннинговой катушки. Он тут же оборачивается, подхватывает спиннинг у комля и, придерживая катушку, подсекает. Затем пытается подтянуть леску, но не тут-то было. Леска натянута и звенит, а катушка ни с места.

— Ничего себе, — шепчет Виктор.
— А может, зацеп? — сомневается Алешка.



— Может, и зацеп... — но не успевает Виктор закончить фразу, как катушка вновь начинает трещать, и леска уходит в воду.

— Придерживай! Придерживай! — моментально разволновался Алешка.

— Всю леску смотает и уйдет. Не давай ему всей лески смотать.

— Тихо, парень, тихо. Чего орать? — невозмутимо отвечает Виктор, пальцами пытаясь остановить бег катушки. Это ему в конце концов удастся.

— Ну вот, а ты побаивался!

— Подматывай! Подматывай потихоньку, — суетится, копаясь в рюкзак, Алешка. — Да где же он? Черт его дери. Ага, вот, — и вынимает оттуда темляк — маленький острый багорик, с насаженной на жало пробкой от бутылки, чтоб ненароком не наколоться или не пропороть рюкзак, — осторожней, осторожней, Витенька! — почти стонет, пристроившись сбоку, Алешка. — Только не тяни дуром, но и слабину не давай. Поводи его: выдохнется, сам придет.

— Отстань, не суетись, — вновь невозмутимо отвечает Виктор, осторожно подматывая с трудом поддающуюся леску.

Бамбуковое удилище спиннинга опасно гнется и, кажется, вот-вот обломится, но в последний момент Виктор перестает сматывать леску, и вновь катушка трещит, раскручиваясь. И так раз за разом. Постепенно сопротивление рыбы ослабевает, видно, выматалась, сидя на крючке, и Виктор, также спокойно, подтягивает ее ближе к лодке. Рядом, с темляком наготове, Алешка. Он и сам, как натянутая леска. Кажется, будто снасть проходит через самое его сердце и каждым толчком отдается внутри. — Ну, где же ты, миленький? — чуть не плачет он, вглядываясь в зелень реки. — Иди, иди сюда, голубчик.

А соменок делает последние отчаянные попытки уйти на глубину, но измученный долгой борьбой, наконец, сдается.

— Ничего себе! — восхищенно шепчет Алешка, увидев в глубине воды появившийся силуэт рыбы.

— Смотри, не промахнись, — Виктор медленно, но верно подводит соменка все ближе и ближе к борту лодки. Тот вяло бьет хвостом из стороны в сторону и почти не сопротивляется. Но теперь-то и предстоит самое главное, нужно втащить сома в лодку. Для этого следует точным ударом глубоко вонзить темляк ему под голову, и уже темляком тянуть вверх, потому как никакая леска не выдержит веса такой рыбины. Тут уж не зевай: промахнулся, лишь задел рыбу, и она, ошалев от новой боли, рванется и уйдет в глубину, сломав крючок или оборвав леску.

Но рука у Алешки тверда. Несмотря на лихорадку азарта, бьет он сильно и точно. Сом судорожно дергает хвостом, однако, схваченный крепким темляком, через мгновение оказывается на дне лодки.

— Ну вот, все. Как говорится: "абге-махт", — выдыхает Виктор, присаживается на банку и дрожащими руками достает из кармана смятую пачку "Памира".

— Да уж, это вам не у Проньки на именинах! — весело подхватывает Алешка, ловко подсекает, и очередной лещ отправляется в садок. А сом тяжело ворочается, шевелит плавниками и жабрами, перекидывает усы с боку на бок, редко вздрагивает хвостом и, кажется, зло поглядывает на ребят своими маленькими, ну прямо пороссячьими глазками, вроде досадует на себя, мол, как это я так оплошал? Таким со-плякам на удочку попался! От этого взгляда веет чем-то древним и ископаемым, и становится даже немного жутковато, что такая вот огромная животиная ворочается рядом, возле ног твоих.



— Смотри-не смотри, а балычок из тебя знатный получится, — бодрит себя голосом Алешка, стараясь отогнать наваждение. Затем обращается к Другу, который жадно цедит охнарик: — Слышь, Вить, килограмм пятнадцать законно потянет!

— Откуда? — Виктор пускает струю дыма. — Не больше десяти, — Нет, Вить, — не соглашается Алешка, — пожалуй, поболее.

— Чего сейчас-то гадать? Вернемся, взвесим. Кстати, давай-ка сматываться, — он смотрит на солнце. — Время к полудню подходит. Да и обловились уже. С таким уловом возвращаться не стыдно.

— Пора, пожалуй, — соглашается Алешка, — вон и ветер гулять начал, волна пошла.

Да, ради таких мгновений стоит жить!

А зимой, что ж, свой резон и своя удача. И неизвестно еще, какая рыбалка азартнее. Спроси у них у обоих, так, пожалуй, и не скажут сразу. А подумают, ответят; и та хороша, и эта.

Вот и теперь, конец марта и, стало быть, зимнего сезона, а они еще толком и не ловили. Как тут упустить погожие, а может, и самые удачливые деньки последнего зимнего лова!

Глава четвертая

Потому-то уже третьи сутки и живут в землянке Алешка с Виктором, днями пропадая на рыбалке, а вечера, проводя у теплого камелька. И счастью их нет предела. Погода, как по заказу, установилась ровная, без перемен. Первая удача в рыбацком деле! Капризна подо льдом рыба. Капризна и осторожна, и достать ее отсюда — большое искусство. Ну когда она клюет недуром, ума большого не надо. Знай, снимай с крючка окуньков, сорожонку, густеру, а то и шарманчиков с лещами. Но когда клева нет, и нет его ни у кого, найти рыбу и изловить ее — большое нужно иметь мастерство. Не клюет в одном месте, перебираешься на другое, ближе к камышу. Попылишь в лунку манкой: на манку рыба падка зимой. Глядишь, и соблазнит ее белое облачко, медленно опускающееся на дно реки. А тут, пожалте вам, и мормышка с мотылем или репейником, с шариком теста или кусочком сыра.

На мели брать не хочет, ищешь на глубине, может, она не со дна, а в полводы возьмет. Бывает, сколько мормышек перепробуешь за рыбалку, перевязывая застывшими на морозе, негнушимися, непослушными пальцами, во рту их греешь, за пазухой, пока не найдешь ту одну-разъединственную, на которую сегодня идет рыба. Но уж ежели нашел рыбешку, попал на уловистое место, тут же все забывается. Остается лишь азарт, огромный азарт и страсть, когда, осторожно подыгрывая удочкой, ты всем своим нутром чувствуешь, вот сейчас кивок на удильнике резко дернется вниз, и в ответ на подсечку, где-то подо льдом рванется на крючке уже пойманная рыба. Но это только полдела. А дело закончится, когда на леску, толщиной с волос, ты выведешь из глубины в лунку килограммового леща, сорогу или окуня. А закувыркается по льду, с боку на бок переваливаясь, красавец лещ, затрепещет мелко полосатый горбыль-окунь, забьется, попискивая, полукилограммовая сорожина, считай, дело сделано, добыча твоя уже никуда от тебя не денется, и домой ты вернешься с "полем".

Но у Алешки с Виктором нынче другая рыбалка. По последнему весеннему льду хорошо на дурилки идет щука. Попадаются экземплярчики



килограммов по пяти и более. Но такие довольно редки. В основном идут гонцы до двух килограммов, однако, сегодня что-то и они не торопятся брать наживку.

Алешка, Валентин и Виктор еще по темной пришли на свое место. На дворе скоро полдень, а у них ни поклевки. Сорок дурилок, расставленных по льду, молчат, как "рыба об лед".

— Да, братцы-кролики, — Валентин снимает с санок, на которых привезли нехитрую рыбацью поклажу, мешок, освобождает для себя место и устраивается поудобнее. — Щука сегодня брать не будет. Туман помешал. А густое молоко тумана цепко хватается за лед, за каждую его неровность, и сквозь клочья этого марева неясно угадываются очертания ближних протоков и заливов, голый, придавленный снежной шапкой лес. С верхушки иного дерева в полной тишине внезапно сорвется малый ком снега, ударит по соседней нижней ветке, с той также слетит потревоженный снег, и вот уже целый снегопад валится на землю. А дерево освободится от тяжести, расправится и будто вздохнет:

— Ух, теперь и подышать можно. Отдохнуть до следующего снегопада. Притихло все в лесу. Не слышно дятла, не видно синиц, даже вороны, вечно трущиеся возле рыбаков — а не перепадет ли и им чего? — даже они где-то притаились. Всех угомонил туман.

— Не может быть, чтоб ни одна не взяла. К обеду что-нибудь да вытащим, — Виктор обдалбливает каблуком подернувшуюся ледком поверхность садка с мальком, где плавают три одиноких густерки.

— Это ж надо, как в бочку опустили, — сокрушается Алешка, — хоть бы одна сработала для приличия!

— Ничего, к обеду клюнет, — повторяет, не теряя надежды, Виктор. Он уже пробежал по старым лункам, пытая счастья на мормышку, но, кроме пяти растопыренных ершей, ничего не добыл. — Малек нужен. В садке его раз-два и обчелся. Если щука брать начнет, цеплять нечего будет.

— Да, мужики, с мальком беда, — Валентин прикуривает затухшую беломорину. — Идти надо искать. В Криушу идти надо. Хоть и далеко, и туман, а надо. Одному за дурилками следить, одному тут, под островом на мормышку пробовать, а одному — непременно в Криушу. Там малек есть. И брать он там должен. А так, что ж время терять? Жди, когда рассеется, — Валентин замахал перед лицом рукой, будто хотел разогнать клочья липнувшего тумана. — Так и до ледохода досидеть можно. — Вот мне и идти, — Алешка полез в рюкзак за удочками. — По пути по старым лункам попробую, на авось. Может, там что подцеплю. Только ты, Валь, мне поподробнее объясни дорогу, чтоб в том молоке не больно плутать. Значит, за остров сначала...

— Ага, за остров, — Валентин прутиком чертит на припорошенном снегом льду схему и подробно объясняет маршрут. — В общем, тут не далеко, — заканчивает он, — километра четыре, а по прямой и того меньше. Но ты по прямой не ходи. Ориентиров нет, закружишься, а то и в майну ухнешь. Лед весенний, рыхлый, течением подмытый.

— Все понял, — Алешка сунул за пазуху коробок с наживкой. — Часа через три назад ждите. С мальком. —

И потопал в туман, а за ним потянулась бесконечная извилистая бороздка, прочерченная по льду концом пешни, болтавшейся за спиной на длинном шнуре.



— Если туман не рассеется, обратно по следу пешни возвращайся! Как раз на нас выйдешь! — напоследок крикнул ему Валентин. — Дзинь, дзинь... — звенела монотонно пешня, заведя свою нескончаемую песню, но звук, казалось, тут же и падал, не в силах пробиться сквозь густую вату тумана.

Уже последние дурилки остались позади, лишь неясные тропинки путались под ногами и разбегались по сторонам, уводя Алешку все дальше и дальше от приятелей. Ему на секунду стало жутко, показалось, что вокруг на много километров не осталось ни одной живой души, только он один, затерянный в этом густом тумане, кружит и кружит на одном месте, сбившись с пути, и кружить ему так вечно, до скончания жизни. И нет на свете никого, кто мог бы помочь ему, выручить из этого заколдованного места. А иногда покажется, что вот-вот из тумана вынырнет кто-то страшный и утащит его в неизвестность, в небытие. И не будет ему тогда спасенья. И никому, никогда не узнать, где и как окончил свои дни шестнадцатилетний школьник Алексей Коноваленко.

И на самом деле, из тумана что-то громко фыркнуло, и на Алешку надвинулась громадная тень, через секунду оказавшаяся молодой лосихой.

— Машка, дура, — облегченно вздохнул мальчик, стараясь унять дрожь в ногах и утихомирить отчаянно заколотившееся где-то в холоде под ложечкой сердце, — что же ты делаешь? Так ведь до смерти напугать можно.

Лосиха совсем по-лошадиному замотала головой, будто во всем соглашалась с Алешкой и доверчиво потянулась к нему губами,

— Ну иди, иди сюда, Машка.

Лосиха, чуть прихрамывая на заднюю ногу, подошла. Алешка снял варежку и осторожно провел ладошкой по морде зверя. Та фыркнула довольно, принимая человеческую ласку, и из ноздрей ее вырвалось горячее дыханье, жаром обдав Алешке руку.

- У, дуреха, совсем перестала людей бояться, — Алешка, довольный, почесал лосиху за ухом. — Смотри у меня, — погрозил он ей пальцем, — не пугай зря людей, как меня сегодня. Ну, ладно, я: я тебя знаю. А другой какой саданет со страха пешней по голове, будешь тогда с шишкой ходить, — лосиха мордой ткнулась к нему за пазуху. Губами ухватила расстегнутый край бушлата.

- Что, хлеб унюхала? Голодная, да? Ну, ладно, ладно. Будет шалить-то. Сейчас, погоди. — Алешка легонько оттолкнул морду зверя в сторону, достал завернутую в тряпицу краюху хлеба с салом. — Ну сало тебе ни к чему, а хлеба, на-ка, — мальчик отломил половину краюхи и протянул лосихе. Та осторожно взяла хлеб с Алешкиной руки и стала жевать, теряя крошки на лед. — Поаккуратней, Машка, хлеба мало, зачем сорить? — Алешка наклонился, подобрал со льда упавшие крошки. — На. Машка все до одной собрала их с ладошки отвислыми влажными губами, опустила голову, добрала остатки со льда и вновь потянулась к мальчику.

— Что, мало? — Алешке было приятно такое доверие зверя. — Ну, ладно, попрошайка, ладно. Сейчас еще дам, — мальчик достал остатки хлеба и, понемножку отламывая, скормил все лосихе. — Все, милая, все. Хлеб вам, а сало нам. Все равно ты его есть не станешь. Иди к Вале, к Вале иди, — повторил он, — там тебя угостят. У него для тебя припасено. А мне спешить надо. Малька ловить, — объяснял он зверю.

И лосиха, будто поняла, опять по-лошадиному замотала головой, теперь из стороны в сторону, отчего уши ее громко захлопали по загравку, неуклюже



повернулась на месте и потрусила на своих длиннющих ногах по Алешкиным следам, и через секунду скрылась в тумане. После встречи с Машкой-лосихой Алешка заметно приободрился. Наваждение мнимого одиночества исчезло и больше не возвращалось. А тут вскоре впереди неясно замаячили очертания знакомого острова. Мальчик понял: направление он держит верно и с дороги не сбился. Настроение у него заметно поднялось. Он прибавил шагу и даже стал насвистывать услышанную недавно песню, вернее, одну ее строчку, повторяя про себя запомнившиеся слова:

"Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу — брат!"

А потом он снова вспомнил свою недавнюю встречу с лосихой.

— Вот Машка, дура, — сказал он вслух, — весь хлеб сжевала! Как теперь сало есть? — и довольно улыбнулся, вновь ощутив на ладошке жаркое дыхание зверя.

Глава пятая

Как очутилась Машка на острове, никто не знал. Еще летом, в разгар разнотравья, когда мужики приплыли туда косить сено, наткнулся на нее Валентин, маленькую, беспомощную и немощную. Лежала она на краю поляны и при появлении человека только и сделала, что приподняла голову и глянула на него долгим и тоскливым взглядом.

— Откуда ты взялось такое? — подивился Валентин, опасливо подходя к лосенку, все - таки зверь. — Батюшки! Да как же это с тобой такое сделалось!? — увидел он распухшую, неестественно вывернутую заднюю ногу. — Вот ты почему от меня не бежишь... — он осторожно, чтобы не испугать зверя резким движением, положил руку на голову лосенку, почувствовал, как мелко и напряженно дрожит под рукой тело, почесал за ухом, и тут же увидел, как из глаз бедняги выкатились одна за одной две крупные слезы.

— Верите ли, — рассказывал потом Валентин, — у меня в груди все перевернулось. Вы ж знаете, я и овечку зарежу, и кабанчика заколю, когда надо, и на охоте стреляю по дичи, а тут, как увидел эти слезы, будто во мне оборвалось что-то. За что ж, думаю, тебе, малышке, такие муки терпеть? Сижу я с ней, значит, вот так разговариваю, а сам, нет-нет да и гляну по сторонам, не появится ли откуда ее мамаша. С нею больно не поговоришь, сами понимаете. Однако ни мамаша, ни, тем более, папаши так и не объявилось. Сиротой оказалась Машка. Это уж я ее потом Машкой окрестил, когда домой привез да ветеринара позвал.

— Ветеринар наш, Филиппыч, только глянул: "Вывих, — говорит, — тазобедренного сустава. Держи крепче, сейчас вправлять будем".

— Навалился я на нее, за шею обнял. А она, родимая, лежит не шурухнется, еще и голову ко мне притулила, вроде как делай со мной, что хочешь, помоги только.

— Не знаю, что уж там Филиппыч с ней делал, только дернулась Машка подо мной, еле удержал. Забилась, забила и успокоилась, и вздохнула облегчительно. Видно, нога на место вошла, сразу муки меньше стало. А шерсть на ней моментально обмокрела, будто в воду окунули, так вспотела. — С неделю еще не могла она ходить. Я ее из соски кормил и болтушку делал. А тут утром захожу как-то в стайку, смотрю: ковыляет навстречу, сердечная. Так-то она все в углу отлеживалась. Ну день ото дня все крепче становилась, а потом и вовсе поправилась. Хромота лишь немного осталась.



— А собаки по деревне, чисто с ума посходили. Весь день у наших ворот крутятся, брешут или рычат на стайку, где Машка, значит. Чуют зверя. Я их и палками, и камнями, однако только в избу уйду, они опять тут как тут. На что уж наш; Бантик голоса никогда не подаст, а и он озверел. Рычит, шерсть топорщит, стоит мне только дверь в стайку отворить.

— "Плохо, — думаю, — дело. Загрызут лосенка, как пить дать, загрызут. Не успежу..." Тут пора подошла сено в стожки собирать. Высохло оно по лугам. Вот я и взял ее с собой на остров. Пусть, думаю, пока я там, и она со мной поживет.

— Только это мы стали к острову чалить, метров тридцать осталось до берега, как сиганет моя Машка через борт, так-то она всю дорогу в гулянке лежала, Виктор с Алешкой ее стерегли, и мелководьем прямо в лес, только ее и видели "Вот тебе и на, — говорю, — и вся благодарность за то, что из соски кормил все лето, за то, что болтушку делал да хлебом из рук угощал!" Даже обидно стало. Ну ребятишки выскочили за ней. Они с ней тоже, дай Бог, повозились. Привыкли к зверю, а и в диковинку такое. Я, мужик, а и мне в диковинку, чего ж про них говорить. Ну выскочили они, значит: "Машка! Машка! Вернись!" Какое там. Машку ту — Ванькой звали.

— С час по острову искали. Да разве найти! Он эвон какой, островто, полгорода разместить можно. Погоревали, конечно, особенно Алешка. Очень уж он к ней привязался. Целыми днями в стайке околачивался. Рыбалку забросил, чего уж больше. То чистит ее, то подстилку под ней меняет, а то и просто разговоры разговаривает. Ну вот. Искали мы ее, искали и искать перестали. Я ребят успокаиваю, зверь, он, мол, и есть зверь. Он в лесу жить должен, а сам про себя думаю: "Неужто не выйдет, неужто не вернется? Быть того не может. Она ж еще теленок совсем. Они в это время привязчивые. Мы для нее вроде мамки родной." — И точно, к вечеру объявилась наша Машка. Вышла, значит, из лесу и напрямик к нам. Однако метров десяти не дошла, встала. Мы к ней: "Машка, Машенька!", а она — в сторону. Убегать не убегает, а и в руки не дается. В один миг одичала. Вот как родная обстановка на нее подействовала. Дома-то, в деревне, все чужое, все враждебное, одни мы, вроде, как самые родные. А в лес попала — наоборот выходит. В другую сторону крен произошел. Вокруг все родное, с рождения знакомое, а самое враждебное, стало быть, мы. Инстинкт... Ну мы ее тревожить не стали. "Погоди, — говорю, — ребятки. Привыкнет опять. Дайте ей с обстановкой освоиться, главное, что вернулась".

— И верно: на завтра уже опять хлеб с руки брала. Правда, вначале только у Алешки. Ни Виктора, ни меня по первости не подпускала. За Алешкой же, как собачонка на привязи бегала. Он сено гребет, а она тут же крутится, он в воде плещется, и она рядом фыркает. Даже завидно становилось.

— Так всю неделю прожили. А дело сделали — пора домой. Машка, конечно, на острове осталась. Не пошла она за нами в лодку, да и незачем. Делать ей в деревне нечего — зверю место в лесу. А мы с ребятишками до конца лета к ней в гости плавали. И каждый раз она к нам навстречу выходила. А как уезжать — отчалит лодка, отойдет от берега — Машка в воду забредет по колено и долго стоит, смотрит вслед, провожает. И так каждый раз. Потом ребята в город уехали. Я на острове месяца полтора не был. А по осени, когда мы с мужиками землянку рыть приплыли, не вышла. Видно,



чужих испугалась. Я в лес, давай ее шуметь. Метров пятьсот отошел, слышу: в кустарнике треск. Вот тут, братцы мои, я и обмер. Смотрю, вываливает на меня из чаши зверюга величиной с "Беларусь". Неужто, думаю, Машка это? Не уж-то она за то время, что я не был, так вымахала?" И что вы думаете? Вымахала. Она и летом от встречи к встрече значительно прибавляла, а тут... Ростом почти с меня. Голова, что твой рюкзак, рыбой набитый. В общем, почти такая, как вы ее знаете. Тогда она, пожалуй, поглаже была. Сейчас, зиму поголодав, закостлявилась.

Вот так и живет Машка тут с тех пор. Я по осени на нее ошейник кожаный надел, чтоб народ видел — домашняя животино. Наши-то мужики с окрестных деревень все ее знают, а городским рыбакам, какие тут бывают, всяк про Машку скажет, чтоб не боялись, ежели случайно нос к носу встретятся. Да и Машка не дура. К чужим близко не идет. Правда, сейчас попривыкла к народу. Рыбаков в землянке много. Каждый день по протокам да по заливам снуют, лед дырявят. Вреда от них Машка не видит, вот и перестала бояться. За зиму оголодала, так она, скотинка, приспособилась у людей подачку кланчить. Выйдет к знакомому рыбаку, встанет в сторонке, и ну копытом лед скрести. Давай, мол, угощение. Как такой попрошайке отказать? Иной специально с собой лишний кусок прихватывает, а ну как Машка выйдет. А та и рада. Совсем избаловалась. Знай, целый день от лунки к лунке бродит, попрошайничает.

— Так что, ребята, — обращается Валентин к двоим новеньким, — если увидите лосиху, не шарахайтесь. Ручная она, безвредная.

— Да мы уж видали, — говорит один из них. — Днем еще. Идем протокой, а вон тот гражданин, — говоривший указал на Ваську Леонтьева, — как раз ее кормит. "Что за чудеса?" — подивились мы еще тогда, но потом ошейник узрили, поняли. Мы тогда же порадовались с приятелем, что осталось на земле еще такое. И где? Совсем рядом с городом, всего два часа на автобусе, там шум, толчея, копоть. А тут — будто на другой планете, или в веке другом. Тишина, воздух какой! Человек и зверь рядом в мире живут, запросто находят общий язык.

— Да, уж, — подхватил его приятель, — сказка. Иной раз люди между собой договориться не могут или не хотят. А тут со зверем дружба — обычное дело. Дома расскажу, не поверят. Опять, скажут, байки рыбацкие сочиняешь. Да и трудно, самому не увидев, поверить в такое. Настолько мы отвыкли от всего этого. Нет, собачонку там завести или кошку какую заморскую, это понятно, это нынче модно даже. Дань, так сказать, общению с природой. Вроде, и мы не лыком шиты...

— Да это ладно, — перебил его приятель, — а вот ты спроси своих друзей, они хоть раз лося живого видели? Не в зоопарке, а вот так, на воле? Уверен, большинство на

тебя как на дурака посмотрит. Меня жена пилит: "Куда ты, да зачем ты? День-два мотаешься, неизвестно где ночуешь. Рыбы той с гулькин нос, да и кому они нужны, твои окуньки с ершами, все руки исколешь, пока выпотрошишь. Лучше бы по дому помог или спину полечил, который год жалуешься". А не понимает, глупая женщина, что для меня эта рыбалка — лучшее лекарство. Я только на лед выйду, над лункой сяду, сразу чувствую, как нервы мои выздоравливают. Всю неделю на взводе: на работе и то не так, и это. Домой придешь, трясет всего. Редкий день без нервотрепки обходится. А с рыбалки вернешься, ног не чувствуешь, тело разламывается,



а голова ясная и на душе спокойно, будто заново родился. Да сюда стоит приезжать только из-за того, чтобы хоть изредка увидеть такое, что мы нынче видели, чтоб хоть иногда вспомнить, кто ты такой есть — человек! Откуда корни твои и на что ты способен в этой жизни, если даже дикий зверь доверяет тебе и кормится от рук твоих без боязни и страха. Ведь это же большое дело — доверие! И не только Машки-лосихи, а всей земли нашей, планеты даже. Доверила она нам себя. Отдала в наши руки. Нате, мол, люди, хозяйничайте. Только голову не теряйте на плечах. И буду я кормилицей вашей на веки вечные и вам самим, и детям вашим, и внукам, и внукам внуков ваших. А мы что? Рады стараться. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Только и слышно: леса повыврубали, речку загубили. Болота осушили — экологию нарушили, а где-то канал провели — землю засолили. В одном месте птиц и зверей гербицидами потравили, а в другом беда своя: нашествие божьих коровок на город. Одно лечим, другое калечим. По-хозяйски это? Вы любую газету откройте. Построили, перевыполнили, завершили. Это мы умеем. Нас хлебом не корми, дай отрапортовать досрочно. Но почему так мало мы пишем о том, о чем кричать надо? Почему так варварски обходимся мы с природой, вроде она отдельно, а мы отдельно? А ведь мы и есть часть природы этой самой, которую так бездарно губим.

Да чего далеко ходить: возьмите Волгу. Кто из вас белорыбицу лавливал? Уверен, что в последние годы никто ее и не видел. А многие вообще слыхом не слыхали, что водится в реке такая рыба. Она и раньше редкой была. Но те, кто постарше, пожалуй, помнят, что ловили ее в Волге и к столу подавали. И ценили за вкус нежный, необычный. Недаром ее "царской" прозвали. А где она теперь, эта царская рыба? А нигде, или почти нигде. Если и осталась малая толика, то и она скоро повыведется. Потому что перекрыли люди ей ходы к нерестилищам. Ведь она почему белорыбицей зовется? Потому что живет в Волге, а икру мечет в реке Белой, что в Башкирии, за тысячи километров отсюда течет. Вот и поднималась белорыбица с низовий вверх по течению до Камы, а уж по Каме в Белую заплывала. Отнерестится и вновь в низовья Волги скатывается, а за ней и малек выведенный. А теперь что? Сплошные ГЭС. Я не говорю, чтоб завтра их все сломать к чертям собачьим, а если бы и сказал, так кто меня послушает? Но вы, люди, и о рыбе подумайте, испокон веков в этой воде жившей. Дайте и ей вздохнуть спокойно. Ведь не может быть, чтоб выхода не было. В космос летаем, атом расщепили, а у себя в хозяйстве порядок навести не можем. Дело это? Не дело. Мне скажут, что пишут об этом и делают что-то. Ничего нового ты нам не открыл, мил человек. А я не устану повторять, потому как душа за это болит. Считаю, мало пишут и еще меньше делают.

Вот оттого и дорога каждая кроха бережного человеческого отношения к матушке-природе. Вот оттого и душа радуется, когда видишь такое доверие зверя к человеку. Зверя, который поверил, что не обидят его, не сделают ничего плохого...

...Однако обидели. Сделали плохое. Нашлись люди, сделали. И не только Машке-лосихе, но и всему люду, что в землянке в то время обитал и с лосихой дружбу водил. И случилось это в тот злополучный день, когда пал на реку густой туман, испортивший не только рыбалку, но и всю тогдашнюю жизнь обитателей



маленькой рыбацкой колонии на Волге. Для Машки обернулся тот треклятый день трагедией, а для рыбаков непоправимым горем, заронившим в сердце каждого боль долгую, невыносимую, сделавшим несчастными на многие месяцы и Алешку, и Виктора, и Валентина.

Глава шестая

А туман начал двигаться. Алешка почувствовал это, когда склонился над лункой и увидел узкий просвет чистого воздуха между льдом и туманом. Просвет этот на глазах расширялся и, наконец, будто старое одеяло с клочьями выпавшей из дыр ваты повисло над его головой. Во все стороны, сколько хватало глаза, висело оно, цепляясь за кусты на островках, торосины, нижние ветки деревьев, вершинами своими пропавших в этом бесконечном туманном одеяле.

Со всех сторон лился непонятно откуда взявшийся сумеречный ирреальный свет, а колеблемое чуть заметным движением воздуха одеяло это дышало и колыхалось, будто огромное неземное животное приходило ночью на землю из глубин далекого космоса на ночлег и вот теперь, в назначенный час утра, покидало землю.

Это было фантастическое зрелище. И оно вселяло в душу ощущение какой-то неясной тревоги и ожидания. И будто подтверждая эту тревогу, по свободному от тумана пространству, откуда-то издалека, почти с противоположного берега, колесом прокатилось слабое эхо то ли выстрела, то ли звука треснувшего под напором прибывшей воды льда. Алешка жадно впитывал в себя эту необычайность и прелесть сегодняшнего состояния природы, понимая, что такие дни случаются нечасто, что они — большая редкость, и не каждому человеку выпадает удача наблюдать подобную картину.

— Вот это да, — сам того не замечая, шептал он вслух, — сказка, ну прямо — сказка. Разве в городе увидишь такое?

Он заворуженно смотрел по сторонам. А туман, клубясь и перетекая, поднимался все выше и выше. Он уже не был похож на рваное одеяло. Будто кто-то огромный открыл кран бездонной реторты и выпустил оттуда клубы удивительного и волшебного газа, цвет которого, и это было самым необычным и фантастическим, менялся каждую секунду: от грязно-серого, до нежно-оранжевого.

Случайно Алешка, напрочь забывший, зачем он здесь, глянул в лунку и увидел, как весело пляшет поплавок на его удочке. Он ловко подсек, и сорожонка, величиной чуть меньше ладошки, — именно такая нужна на живца — беспокойно заплескалась в бидончике.

А чудеса продолжались. Еще минуту назад замерший в лунке поплавок не подавал ни малейших признаков жизни, а теперь поклевки следовали одна за другой. Не успевала мормышка достигнуть дна, как ее жадно хватала сорожонка или густера. Через короткое время Алешка надергал их около трех десятков. А когда мальчик разогнул спину и поднял голову вверх, никакого тумана не было и в помине, будто его не было никогда. Небо, словно заново вымытое, сияло голубизной и свежестью, а на нем ярко светило солнце.

— Ну, чудеса! — не переставал поражаться мальчик произошедшим метаморфозам. Он быстро смотал удочку, сунул ее за пазуху, подхватил бидончик и, взбрыкнув стригунком, напрямиком, не выбирая дороги, весело поспешил обратно.



— Машка, Машенька, да что ж это такое? — прошептал Алешка. Но, как ни тихо это было сказано, лосиха услышала мальчика, взгляд ее обрел смысл, и она потянулась к нему головой, шевеля безмолвно губами, будто хотела коснуться его и что-то сказать. Алешка на коленях подполз к зверю. Теперь уже никто не держал его. Все поняли, так и должно быть, Именно к нему, к Алешке, шла она умирать, именно его ждала и, наконец, дождалась. Мальчик сел возле ее головы, неловко подогнув ноги, а лосиха собрала остатки сил и положила голову ему на колени. Она пыталась губами ухватить край бушлата у него на груди, как тогда при недавней их встрече, будто хотела объяснить, что между ними ничего не изменилось, что их отношения остались прежними, и он не виноват в том, что произошло сегодня. Но у нее не хватило сил даже для такой малости.

— И-и-и, — тонко и едва слышно плакал мальчик, обхватив голову зверя. Сзади него то и дело всхлипывал Виктор, Подозрительно кряхтел дядя Рома, часто шмыгал носом Васька Леонтьев, и никто не стыдился своих слез. А рядом молча умирала лосиха. Тело ее вытянулось, последний раз прокатилась по нему волна мелкой дрожи, и оно застыло. Лишь в глазах лосихи редкой звездочкой вспыхивала случайно забытая искорка жизни. Но вот угасла и она.

— Не, мужики, так дело не пойдет. На чужой каравай рот не разевай. Это животина моя, я ее добыл!

Все одновременно повернулись на голос. К ним по кровавому Машкиному следу подходил незнакомец. Полушубок его был распахнут, и раскрытая волосатая грудь парила, заячий трех весело сдвинут на затылок, а раскрасневшееся от быстрой ходьбы лицо довольно сияло крепкими желтыми зубами и щелками глаз, затерявшихся между бескрайними щеками и плешивым лбом. Незнакомец был с виду крепок и коренаст, за широкими плечами его болталась двухствольная курковка, а на толстом брюхе висел патронташ.

— Ишь, забрела куда, стерва. Сколько силищи в звере! А ведь наверняка стрелял, чуть не в упор. Дайте-ка глянуть, — пытался он протолкнуться к Машке. Но рыбаки стояли не шелохнувшись. Тогда пришедший весело удивился:

— Вы, че, мужики? Дайте пройти-то. Километров пять по ее следу пер. Пройти, говорю, дайте! Моя добыча, законная! Рыбаки стояли все так же. И тут впервые пришедший почувствовал неладное.

— Да вы что, мужики? Может, в долю собрались? Ну, ладно, будет и вам доля, коли освежевать поможете, я не жадный. И тут из-за Васькиной спины метнулся к нему Алешка. Никто и глазом моргнуть не успел, как он вцепился в полушубок пришедшего и повис у него на груди.

— Гад! Сволочь! Убийца! Гад! Сволочь! — повторял и повторял он, захлебываясь слезами.

Незнакомец опешил, но через секунду пришел в себя и, будто шутя, отшвырнул Алешку на лед.

— Ты, что, псих? Ребята, он что у вас, псих? — пытался улыбнуться пришедший, но чувство какой-то неясной тревоги уже промелькнуло в его лице. А Алешка вновь был на ногах и снова оказался отброшенным.

— Да уберите вы его, наконец! А то зашибу ненароком. Валентин перехватил Алешку.



— Не тронь мальчика, мил человек, — тихо произнес дядя Рома.
— А я его трогаю? Это он, будто с цепи сорвался. Я его знать не знаю и вижу в первый раз.

— Лучше б тебе его никогда не видеть, — подал голос Васька Леонтьев. — Да и с нами лучше бы тебе не встречаться.

— А вы что за фигуры такие, чтобы я вас боялся? — От былой веселости пришедшего не осталось и следа. Лицо его сделалось злым и неприятным. — Душегубы, что ль, с большой дороги? — нахрапом попер он. — Чего вы мне тут грозите!? — повысил он голос, заводясь все больше и больше. — Ловите свою баклешку и ловите! Я с ними по-хорошему. Долю хотел выделить. Дай, думаю, килограмм-другой мужикам подкину. Нехай убоинкой побалуются, не век же на рыбе сидеть. А раз так, — пришедший рубанул ладонью воздух, — катись все к Пронькиной матери! Вы мне не указ.

- Да нет, указ, мил человек. Ты зачем лосиху стрелил? Зачем животину жизни решил?

— А ты что, дед, инспектор? Тогда давай документ. Давай, ну! А-а-а! Нет его? А нет, и говорить с тобой не буду.

— Будешь. Будешь говорить, — тихо, но твердо произнес Васька Леонтьев. — И не только говорить будешь, но и ответ за свое злодеяние держать.

— Это перед тобой-то? — пришедший неожиданно визгливо расхохотался. И вдруг рванул с плеч двухстволку. — А ну, пошел отсюда! Пошел, говорю! И все пошли! — заблажил он, брызгая слюной. — А то всажу картечью, на всех хватит! Ну, кому говорю! И, как бы в подтверждение своих слов, щелкнул курками.

Не ожидавшие такого поворота дела рыбаки растерялись, сбились в кучу, отодвинулись в сторону.

— Окстись, паря. На кого ты ружье поднял? Креста на тебе нет. Тут же дети! — сказал дядя Рома.

Но незнакомец, чувствуя свою силу и, главное, смятение рыбаков, вошел в раж и заполошно заверещал, что было мочи:

— А ну, катись, старый! И компанию с собой забирай к чертям собачьим! А то я тебе дам крест! Тут тебе и крест будет, и могила!

Алешке стало страшно. Страшно не только от мысли, что вот сейчас, в любую секунду, может раздастся выстрел, и прольется новая, уже человеческая кровь, но и от перемены, произошедшей с этим человеком, лицо которого теперь кроме злобы и тупой звериной решимости ничего не выражало, и верилось, такой может нажать на курки. Алешка видел, что и остальные чувствуют то же самое.

— Отойдем, мужики. А то, неровен час, дойдет до греха... — прошептал дядя Рома.

— погоди, дед, — перебил его Васька и шагнул вперед. — Ну, давай, — и он пошел прямо на пришедшего. — Давай, вот он я. Стреляй!

— Ну ты, дурик, не подходи! — попятился назад незнакомец, не давая Ваське сократить расстояние. — Не подходи, говорю, а то и вправду схлопочешь. — Стволы смотрели прямо Ваське в грудь, но он шел не останавливаясь, прямо на стволы. — Убью, говорю! Ошалело заверещал пришедший и, вряд ли понимая что делает, приподнял ружье над Васькиной головой.

Хлестнул выстрел. В воздухе завизжала картечь и унеслась в белый свет.

— Вернись, Василий! — едва успел крикнуть дядя Рома.



А Васька, не дав незнакомцу опустить стволы, одним прыжком достал до него, правой рукой ударил по ружью в сторону и вниз. Тут же новый выстрел разорвал тишину реки, а картечь вспорола лед и рикошетом ушла в сторону, левой рукой коротким ударом опрокинул пришедшего навзничь и завладел ружьем. Поднял его над головой за стволы.

— А-а-а! — неожиданно тонким голосом завизжал незнакомец и червяком пополз в сторону, спасаясь от удара и прикрывая лицо рукой.

— Васька! Дура! Убьешь ведь! - Дядя Рома бросился вперед. Но было поздно: со всего размаха Васька опустил приклад вниз. Ни что, казалось, не могло спасти убийцу Машки. Но то ли услышал Васька дядю Рому, то ли, как он сам говорил, — судьба отвела руку, только в последний момент Васька будто опомнился и хряснул прикладом об лед, рядом с головой незнакомца и отбросил брызнувшее деревянными щепками, исковерканное железо

в

сторону.

А пришедший мужик лишь пискнул и мелко закрестился, поняв, что на этот раз пронесло.

— У, сука, про Бога вспомнил, — Васька стоял над ним, еле сдерживая себя. — В тюрьму за тебя, гада, идти. А так бы прикончить, падаль

такую.

— Мужики, да вы что? Да вы что, мужики? — лопотал незнакомец, суетливо бегая глазками с одного рыбака на другого. — Да я ж пошутил, мужики. Я ж так, шутки ради. Я и убоинкой поделюсь с вами: эвон, какая туша! На всех хватит. Месяц от пуза мясо есть будем! — Убоинкой?! — заревел Васька. Он схватил пришедшего за шкуру и одним рывком поднял на ноги. — Ты, падла, когда стволы наводил и курки спускал, куда смотрел!? Где глаза твои вонючие были, я спрашиваю?! Ты в кого стрелял, сволочь?! "Наверняка-а! Почти в упор!" — передразнивал он его. — А коли почти в упор, ты что ж ошейника не видел?! Ты что ж не понимал, что животное эта домашняя? Что она от человека не бежит! Приручена! Что она даже от такой падлы, как ты, не убежала! Васька тряс незнакомца так, что было слышно, как у того клацают зубы. От бывшей его уверенности и нахальства не осталось и следа, В руках у Васьки трепыхался насмерть перепуганный жалкий мужичонка с расширенными от ужаса глазами и разбитым ртом, из которого тонкой струйкой стекали на подбородок

красные

слюни.

— Не видел! Ничего не видел! Бес попутал! Смотрю, не бежит от меня, стоит рядом и только глазом косит. Вот бес и попутал. Ружье переломил, стоит... Жакан в стволы сунул — стоит... Столько мяса, думаю, бестолку пропадает. Ну я и... Да если б я знал! А то, ни сном, ни духом...— пришедший ладошками размазывал обильно покотившиеся из глаз слезы.

— Мясa! Тебе мяса захотелось! Ну так я тебя сейчас накормлю мясом! — Васька почти поднял в воздух незнакомца. И у того неожиданно расплылось на

штанах

темное

пятно.

— Не тронь, Василий, — сзади подошел Алешка. — Не вяжись с ним. Сколько б ты его ни бил, Машку все равно не поднимешь. А этот, — Алешка долго смотрел на незнакомца, — об него только руки испачкаешь.

— У, вонючка! — Васька, будто куль тряпья, отшвырнул пришедшего в сторону. — Что ж, так и отпускать его с миром? Дай я ему хоть зубы пересчитаю.

Убийца Машки плюхнулся на лед и заскулил по-собачьи:

— Ответишь, не тронь лучше! Нет такого права, чтобы человеку зубы выбивать! Я и властям пожалиться могу. И за себя, и за ружье. Оно денег



стоит, а ты его об лед! И он, причитая, ползал на карачках, собирая остатки приклада. — Тьфу! — плюнул в его сторону Васька и отвернулся.

Алешка смотрел на все это и думал, как не похож этот копошившийся на льду, что-то бормочущий про себя человечешко на того давешнего, еще недавно считавшего себя полным хозяином положения, уверенного во вседозволенности поступков своих, но и теперь, и тогда, в особенности, обнажившего всю мерзость души, и с удивлением понимал, что не держит на него зла, что не ненавидит его, как должен был бы ненавидеть, а просто жалеет. Жалеет той человеческой жалостью, которая раньше была ему, быть может, и неведома, потому что только сейчас открыл для себя нечто новое, чего не знал до этого дня. Ни разу в жизни не пережил подобного, потому и не знал. Слышал, что где-то там, в далеком абстрактном мире, живет зло. Огромное зло, способное ломать человеческие жизни, превратить человека в зверя и даже уничтожить его. Но это было с другими, а не с ним, и оттого казалось не страшным и не серьезным. А вот сегодня зло коснулось его самого, и он понял, что дальше уже не сможет жить так, как жил до сего дня, легко и радостно, что вошло в его душу новое понимание жизни.

Алешка глянул поверх леса за дальний остров, затем на поверженную Машку, прошел взглядом по лицам приятелей, посмотрел под ноги на пещню. Поднял ее. Пошел.

— Как же так? Откуда в человеке столько жестокости? Почему в мире все так зыбко и неустойчиво? Довольно одной небольшой случайности, чтобы вся жизнь человеческая перевернулась с ног на голову. А не произойди этой случайности, не встретить сегодня незнакомец Машку, и все было бы благополучно.

Нет, не было бы: не встретил бы он ее сегодня, нашел бы завтра. Знал, что живет в здешних краях ручная лосиха, не мог не знать. Понимал, что ручная, и все-таки стрелял. Жалко стало, что столько мяса пропадает зря.

А не подумал, что это — тоже жизнь. Жизнь, не им даденная, не для его утробы рожденная. Дальше — больше: вот уже он человеку ружьем грозит, стреляет. Пусть мимо. Пока — мимо. В стволе и другой заряд был. И если бы не Васька... Неужели же в каждом заложено зверство это? Заложено и спит до поры, до времени. А как приходит эта минута, вырывается наружу звериное, коверкает человека, и сопротивляться ему нет сил. Нет, быть того не может... Васька ведь не озверел, не оскотинился, после того как стреляли по нему. А ведь мог бы! Нет, не бывает так, чтоб все люди время от времени в скотов превращались. Не могут они так, не должны! — так думал про себя Алешка, а сам долбил и долбил лед, опоясывая тело лосихи широкой бороздой.

Вскоре к нему присоединился Виктор, рядом затюкал пещней дядя Рома. Через некоторое время их сменил Васька с Валентином. И только Алешка не отдавал пещню, все яростней и глубже вгрызался в лед, вырубая тело Машки из монолитного покрова реки.

И вот, наконец, по краям освобожденной льдины забурилась черная вода, все больше и больше заливая опускавшееся на дно тело молодой лосихи. Забурилась и успокоилась, сомкнулась и вновь вспучилась. А из глубин ее поднялась ребром освободившаяся от своего страшного груза льдина и упала на кромку майны. Да так и застряла непрочным памятником той, кого еще совсем недавно люди любовно называли Машкой...

...Случилось это в разгар дня, когда зима, наконец-то, сдалась и уступила свои права на хозяйство землею весне. И весна, вступив в свои права,

потому и выпустила первым делом на небо солнце, дабы все живое на земле почувствовало: — Все! Конец зиме! Конец суровому, горькому времени. Пришла другая пора, веселая и радостная в своем обновлении.

Но радости от этого не было никакой.

